



УДК 821.161.1.09-32+929Солженицын

Реальность зла в «Одном дне Ивана Денисовича» А. И. Солженицына

В. Ш. Кривонос

Кривонос Владислав Шаевич, доктор филологических наук, профессор кафедры русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы, Самарский государственный социально-педагогический университет, vkrivonos@gmail.com

Проблема зла, явленного в рассказе Солженицына как страшная реальность павшего мира, рассматривается в аспекте значимых здесь ситуаций испытания, которому подвергаются лагерный социум и главный герой. Как показывает анализ, в ходе рассказывания, в которое вплетены ситуации испытания, раскрывается сущность лагерного социума как определенного устройства жизни и проходят проверку характер героя и его система ценностей. **Ключевые слова:** Солженицын, рассказ, зло, ситуация, испытание.

The Reality of Evil in *One Day in the Life of Ivan Denisovich* by A. I. Solzhenitsyn

V. Sh. Krivonos

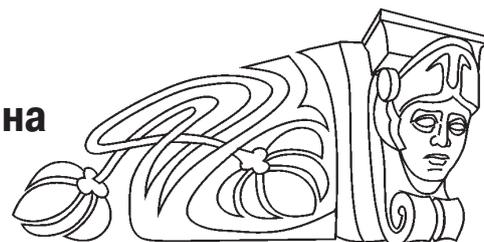
Vladislav Sh. Krivonos, <https://orcid.org/0000-0001-8138-0057>, Samara State University of Social Science and Education, 65/67 Maxima Gorkogo St., Samara 443099, Russia, vkrivonos@gmail.com

In the article the problem of evil revealed in Solzhenitsyn's story as the terrible reality of the fallen world is considered in the aspect of the significant situations of the test to which the camp society and the hero are subjected. According to the analysis, in the course of the narration, into which the situations of testing are interwoven, the essence of the camp society is revealed as a definite structure of life, and the character of the hero and his system of values are tested.

Keywords: Solzhenitsyn, story, evil, situation, test.

DOI: <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2020-20-1-75-80>

В «Одном дне Ивана Денисовича» рассказывается о жизни в особом лагере, представляющем собой не просто замкнутое пространство неволи, но место, где предельно обнажено действие зла в мире, который отвернулся и отрёкся от Бога. Причем речь идет не о зле вообще, а об «организованном зле»¹. Было отмечено, что зло у Солженицына, показанное в различных его формах и проявлениях, переживается и ощущается так, как оно переживается и ощущается в христианстве, т. е. как *надшесть*². В рассматриваемом рассказе зло осмыслено и явлено как страшная реальность павшего мира; автор акцентирует присутствие зла, разлитого в окружающей персонажей действительности и укорененного в самой человеческой душе, как очевидную для него данность. Выбор подобного ракурса изображения укрепляет онтологический статус повество-



вания: автора интересует влияние и воздействие зла, явное и скрытое, которое выражается в принуждении и растлении, в раздоре и разделении, превращающих существование в ад. Отсюда и роль ситуаций испытания, вплетенных в сюжет рассказывания, когда раскрывается сущность лагерного социума как определенного устройства жизни и проходят проверку характер героя и его мировосприятие³. В пределе внутренняя готовность к восхождению, так как «...и в лагере (да и повсюду в жизни) не идёт растление без восхождения»⁴.

Территория зла

Лагерь потому предстает в «Одном дне...» как территория зла, что его обитатели, включая тех, кто еще не потерял веру в существование законности и не утратил окончательно «веру в доброту человеческого сердца», встречаются с «настоящим зверем»⁵. Звериные коннотации окружают фигуру начальника режима, лейтенанта Волковóго, которого «...не то что ээки и не то что надзиратели – сам начальник лагеря, говорят, боится. Вот Бог шельму метит, фамильицу дал! – иначе как волк Волковóй не смотрит. Тёмный, да длинный, да насупленный и носится быстро. Вынырнет из барака: “А тут что собрались?” Не ухоронишься. Поперву он ещё плётку таскал, как рука до локтя, кожаную, кручёную. В БУРе ею сёк, говорят» (I, 31). И говорящая фамилия, которой недаром он отмечен, и выразительные черты внешности (*тёмный* – не просто цвет лица; проявляемая им жестокость порождена внутренней *тьмой*) актуализируют присущую волку хтоническую символику⁶. В этом наводящем страх человеку человеческое задавлено звериным.

Начальник режима ведет себя, как вожак в волчьей стае; стоило ему крикнуть на надзирателей, так те, «...шмонавшие кое-как, тут зарьялись, кинулись, как звери», а старшина, несмотря на мороз, приказал: «– Ра-ас-стегнуть рубахи!» (I, 31). У Волковóго нет человеческих эмоций, только звериные; от страха перед ним звериные инстинкты мгновенно пробуждаются и у его подчиненных. Действия, раскрывающие живущее в них звериное начало, вызывают знаменательные ассоциации с поведением апокалипсических зверей, представителей сил зла⁷. Для зла же законов не существует; в основе бесчеловечного отношения к заключенным лежит убеждение, что с этими, с *врагами народа*, которых разрешено и даже



велено было не считать людьми, «все позволено»⁸. Надзиратель, недовольный тем, как Шухов вымыл в надзирательской пол, называет его «чушкой» и привычно выговаривает: «Ничего, падлы, делать не умеют и не хотят. Хлеба того не стоят, что им дают. Дерьмом бы их кормить» (I, 21). Ведь зэки для него действительно не люди.

В обыденной лагерной жизни происходит приучение и привыкание к насилию, физическому и словесному, и к злу, которое в насилии проявляется; при этом активизируется способность зла *заражать*. Зло у Солженицына «... всегда в человеке и через человека», это «прежде всего злые люди», сознательно «выбирающие зло»⁹. Выбор в пользу зла означает не просто подчинение ему, но соучастие в насилии, формы и характер которого определяются местом и положением в лагерном социуме, «иерархично» организованном и поделенном «на разряды»¹⁰. Система власти устроена здесь так, что дистанция, установленная режимом, с одной стороны, разделяет лагерную охрану и заключенных, с другой, разделяет и самих заключенных, так что одни получают возможность властвовать над другими.

Ставку лагерная администрация делает на *сволочь*, как характеризует Шухов ее прислужников; бранное слово точно выражает суть характера тех, чье поведение служит прямым свидетельством реальности зла. Дэр, десятник из зэков, потому «сволочь хорошая», что «своего брата-зэка хуже собак гоняет» (I, 39). Ничем не лучше него и парикмахер с бухгалтером, «налипшие лагерные придурки, первые сволочи, сидевшие в зоне», не считающие «серых зэков» за людей и ведущие себя соответственно; связываться с ними бесполезно, так как «у *придурни* меж собой спайка и с надзирателями тоже» (I, 91). С ними в связке и «сволочь старшая», старший барака, сам «держится начальством», а других держит в страхе: «Кого надзору продаст, кого сам в морду стукнет» (I, 106). Хромой, дневальный по столовой, «гвоздит» с крыльца берёзовым посохом, «кто не с его команды лезет»; он «дюжий», хоть и инвалид, недаром «с поварами дружит» (I, 93). Повара же «мордовороты на подбор», а застоловой просто «откормленный гад, голова как тыква, в плечах аршин», уж он-то «никому не кланяется, а его все зэки боятся» (I, 93–94).

Селекция заключенных с точки зрения выполняемых ими функций, диктующих тот или иной механизм поведения, определяет разную степень зараженности злом и, соответственно, нравственного падения; тем, кто выбирает служение злу и признает тем самым победу зла над их душой, позволено самоутверждаться посредством насилия, остальным же отводится и навязывается роль исключительно объектов насилия. Испытание, которое проходит в ходе рассказывания лагерный социум (вместе с включенными в него персонажами, отражающими и выражаю-

щими своими действиями и поступками его сущностные черты), и есть прежде всего проверка на отношение к злу и его носителям; при этом зло в рассказе не объясняется, но демонстрируется и саморазоблачается.

Разделению зэков служат и придуманные, чтобы «в лагере горбить», бригады, т. е. «такое устройство, чтоб не начальство зэков понукало, а зэки друг друга», так как от одного зависит, чтобы всем не сидеть «голодными» (I, 46–47). В каждой бригаде, как и вообще в лагерном социуме, своя иерархия: «Снаружи бригада вся в одних чёрных бушлатах и в номерах одинаковых, а внутри шибко неравно – ступеньками идёт» (I, 22). Власть же бригадира, чьи распоряжения выполняются беспрекословно, абсолютна; в его руках жизнь и смерть лагерника: «...хороший бригадир тебе жизнь вторую даст, плохой бригадир в деревянный бушлат загонит» (I, 38). Связывая «части лагерного мира, палачей и зэков», которых он «заслоняет от случайных опасностей», бригадир вместе с тем «укрепляет привычку к холопству»¹¹.

Лагерный мир, каким его видит Иван Денисович, полон абсурда, ставшего обыденностью; так, шпионов «в каждой бригаде по пять человек, но это шпионы деланные, снарошки», как и сам Шухов, который «такой же шпион» (I, 80). Абсурден вообще весь уклад лагерной жизни, основанный на подменах, обмане и произволе: «Хлеб растёт в хлеборезке одной, овёс колосится – на продскладе. И хоть спину тут в работе переломи, хоть животом ляжь – из земли еды не выколотишь, больше, чем начальник тебе выпишет, не получишь. А и того не получишь за поварами, да за шестёрками, да за придурками» (I, 54). И абсурд, ставший нормой и воспринимаемый как норма, невозможно объяснить, как не поддается объяснению зло: его не должно быть, но оно *есть*¹². Именно так, а не по-другому устроен лагерный социум, где явлена реальность зла: «Кто кого сможет, тот того и гложет» (I, 55).

«Советские люди»

В том, что зло всегда действует через человека, Шухов мог не раз убедиться на собственном опыте, когда еще был вольным. Он и в лагере оказался по вине и по воле конкретных людей, с которыми столкнулся, когда бежал из плена, где побыл *нару дней*, выходя их окружения; *чудом* попав к *своим*, принужден был дать показания, что он изменник родины и фашистский агент: «В контрразведке били Шухова много. И расчёт был у Шухова простой: не подпишешь – бушлат деревянный, подпишешь – хоть поживёшь ещё малость. Подписал» (I, 52). Произвол и насилие в разных формах, исходившие от конкретных людей, установивших свой порядок, пришлось ему испытать на себе затем в общем лагере, на севере, где отбыл семь лет и где бригаду, не вы-



полнившую «дневного задания», оставляли «на ночь в лесу» (I, 52). А еще работяг обрекали там на голод, когда, «с работы возвращаясь, блатные опередают, и пока задние войдут, их тумбочки обчищены» (I, 107).

Бессмысленность ссылок на *законы*, когда имеешь дело с конкретными людьми, выбравшими служение злу и отказавшимися от человечности, Шухову с его лагерным опытом слишком понятна. Вот Буйновский, «в лагере трёх месяцев нет», услышав, что надзиратели велят для проверки телогрейки «распустить» и «рубачи расстегнуть», кричит: «Вы права не имеете людей на морозе раздевать! Вы девятую статью уголовного кодекса не знаете!...». Иван Денисович поправляет его, думая про себя: «Имеют. Знают. Это ты, брат, ещё не знаешь» (I, 32). Но тот действительно *не знает* и потому продолжает возмущаться: «Вы не советские люди! – долбаёт их капитан». И получает в ответ от Волковóго: «Десять суток строгого!» (I, 33).

Обличения Буйновского «...неадекватны, потому что лагерные охранники как раз *вполне советские люди*»¹³. Такие же, как и сам кавторанг, чувствующий свое единство с государством, репрессивную сущность которого не сознает. Рассказывая, как он, сопровождая морской конвой, «прожил почти целый месяц на английском крейсере», и, услышав, что этого «уже достаточно, чтобы вмазать вам двадцать пять», отвечает так, как подобает *советскому* человеку: «Нет, знаете, этого либерального критицизма я не придерживаюсь. Я лучшего мнения о нашем законодательстве» (I, 83). Он не только не отделяет себя от надзирателей и их начальника, но отождествляет себя с ними по общему признаку, который должен бы, по его представлению, их объединить: *советские люди*. Ведь и в лагере была такая же «советская жизнь», что позволяло заключенным, если они обнаруживали готовность, обусловленную соответствующим жизнеощущением, идентифицировать себя с «гонителями и охранниками»¹⁴.

Что на воле, что в лагере советская идентичность предполагала принятие утвердившейся практики насилия как *исторически* и *объективно* мотивированного условия строительства государства нового типа¹⁵. Показательно в этом смысле поведение Цезаря Марковича, казалось бы, человека по своим задаткам и характеру совсем не злого, но при этом такого же *советского*, как Буйновский, которого одного в бригаде «придерживается, больше ему не с кем душой отвесь» (I, 79). С ним он и заводит разговор о знаменитом фильме о *броненосце*; если для капитана «морская жизнь там кукольная», то Цезарь, сам снимавший на воле кино, уверяет, что «мы избалованы современной техникой съёмки...», а что офицеры, чего просто не могло быть, «все до одного мерзавцы», то «исторически» (ведь они, следуя риторике насилия, *враги*) именно «так и

было» (I, 80). Человек он даже более *советский*, чем кавторанг, ставший простым бригадником и так наработавшийся за день, что «еле спину распрямил» (I, 79), тогда как Цезарь «...всем сунул, кому надо, – и *придурком* работает в конторе, помощником нормировщика» (I, 39). На это прямо указывают его житейские навыки и установки поведения, побуждающие принять существующий порядок вещей и приспособиться к нему.

Цезарь не только адаптировался к окружающей его реальности, но и, как показывает спор со стариком-кагоржанином о другом уже фильме, цинично оправдывает апологию насилия, демонстрируя, как и в случае с кавторангом, превосходство над собеседником, подобного цинизма не понимающего: «– Нет, батенька, – мягко этак, попуская, говорит Цезарь, – объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. “Иоанн Грозный” – разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!». И возражение, что в сцене этой «гнуснейшая политическая идея – оправдание единоличной тирании», с легкостью отвергает: «– Но какую трактовку пропустили бы иначе?..» (I, 60). Подобный спор, как было отмечено, «...в январе 1951 года состояться не мог никак»¹⁶, поскольку персонажи не могли видеть вторую серию фильма, но автору важно было подчеркнуть неприятие обозначенной трактовки «даже за счет сознательного отказа от исторической точности»¹⁷. Между тем именно эту трактовку отстаивает Цезарь, оправдывая тем самым и собственный конформизм; такова, по его логике, действительность, принуждающая к соучастию во зле.

Привычка к насилию, превратившемуся в обыденность, диктовала не всегда замечаемое, особенно если оно не сопровождалось грубостью и жестокостью, но весьма характерное отношение к другому, свидетельствуя об утраченных моральных нормах. Шухов, принесший Цезарю миску в контору, так как тот «сам никогда не унижался ходить в столовую» (I, 58), и ставший невольным свидетелем спора, кашлем, «стесняясь прервать образованный разговор», выдает свое присутствие: «Цезарь оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, будто каша сама приехала по воздуху и за своё». Так и не дождавшись, чтобы Цезарь, который «совсем об нём не помнил, что он тут, за спиной», угостил бы его «покурить», Шухов, «поворотясь, ушёл тихо» (I, 60–61). Равнодушие и безразличие к другому, демонстрируемое Цезарем, обнажая неознаваемую им самим зараженность его личности злом, порождают выразительную картину нравственного падения *советского* человека.

Уязвимость человека

В рассказе Солженицына изображаются различные проявления *падшести*, которые объясняются не одним только растлевающим влиянием



лагеря или негативными свойствами характера какого-либо персонажа, но и уязвимостью человека, зависимого от непредсказуемых событий, от обстоятельств, резко и необратимо меняющих его жизнь. И героя своего, которому досталась участь жить в бедственное время, автор, оценивая его поведение и его поступки в тех или иных ситуациях, считает нужным не только понять, но и, если приходится выбирать между оправданием и обвинением, «лучше оправдать, чем обвинить», как и «всех страдавших» (V, 209).

В столовой, когда подходит очередь его бригады, чтобы очистить для нее место, «...вклинился он за столом, двух доходяг согнал, одного работягу по-хорошему попросил...» (I, 55). Было замечено, «...что чувство справедливости у Шухова не безукоризненно, а чувство сострадания весьма выборочно, да и поведение его не безупречно...»¹⁸. И что «...все-таки общая система нравственных координат у него сдвинута...»¹⁹. Но так же ведет себя и его бригадир, озабоченный, чтоб «другую бригаду, нерасторопную, заместо себя туда толкнуть», где «поле голое» и «месяц погреться негде будет» (I, 16). Можно сказать, что его поведение тоже небезупречно и что у него еще сильнее смещены нравственные координаты. Да ведь и не у них одних; у других персонажей, в зависимости от их места в лагерной иерархии, подобного рода *сдвинутость* бывает куда заметнее. Так, задумал было Шухов, заболев, отлежаться две-три недели «в больничке», да вспомнил, что выдумал новый доктор «всех ходячих больных выгонять на работу», чтоб «загородки городить» или «дорожки делать», убежденный, будто работа лечит: «Ухайдакался бы сам на каменной кладке – небось бы тихо сидел» (I, 25–26).

Шухов показан автором вовсе не как тип *положительного героя*; он несовершенен, как бывает несовершенен обычный человек (чьи «...греховные поползновения нормальны, потому что с православной точки зрения лишь Бог без греха...»²⁰), тем более в условиях каторжного лагеря и с учетом лагерных нравов, к которым пришлось приспособливаться. Как и его бригадир, он лагерник со стажем, из тех, «кто знает лагерную жизнь» (I, 15). Известны ему и принципы существования в лагерном мире: «Это верно, кряхти да гнись. А упрёшься – переломишься» (I, 42). Освоил Шухов и правила выживания здесь, уже обладая опытом выживания в общем лагере, в Усть-Ужме, когда «он доходил» и от цинги «кровавым поносом начисто его пронесило» (I, 21). Потому и утверждает, сравнивая лагерь, где сидит сейчас, с прежним, где отсидел семь лет: «← Тут – жить можно. Особый – и пусть он особый, номера тебе мешают, что ль?» (I, 53). Но и в особом лагере *жить можно* разве что в сравнении с тем, северным: «Вот этой минуты горше нет – на развод идти утром. В темноте, в мороз, с брюхом голодным, на день целый. Язык отнимается. Говорить друг с другом не захочешь» (I, 29).

Холод и голод, мучившие его в Усть-Ужме, остро переживаются им и в *особом*, почему к неотступным мыслям о еде Шухов, рассказывая о перипетиях лагерного существования, постоянно возвращается и почему всякий раз подробно описывает, что ел за завтраком, за обедом и за ужином: «Главное, каша сегодня хороша, лучшая каша – овсянка. Не часто она бывает. Больше идёт магара по два раза в день или мучная затирка. В овсянке между зёрнами – навар этот сытен, он-то и дорог» (I, 55). А лагерный опыт подсказывает, что «черпак обжигающих вечерних пустых щей», когда ээк, наработавшись за день и чувствуя, как «обветрен, вымерз, выголодал» возвращается наконец в лагерь, «для него сейчас дороже воли, дороже жизни всей прежней и всей будущей жизни» (I, 89). Важно ему передать в подробностях и свои ощущения от самого процесса еды: «Начал он есть. Сперва жижицу одну прямо пил, пил. Как горячее пошло, разлилось по его телу – аж нутро его всё трепыхается навстречу баланде. Хор-рошо! Вот он, миг короткий, для которого и живёт ээк» (I, 97).

Шухов, побывавший до лагеря и на войне, и в плену, переживший допросы с пристрастием и признавшись в преступлении, которое не совершал, ясно сознает всю незащищенность человека от внезапных ударов судьбы, круто меняющих его жизнь. Будучи зорким и наблюдательным, как и полагается опытному ээку, не мог не заметить он реакцию Буйновского на неожиданно доставшуюся тому лишнюю порцию каши: «Виноватая улыбка раздвинула истресканные губы капитана, ходившего и вокруг Европы, и Великим северным путём. И он наклонился, счастливый, над неполным черпаком жидкой овсяной каши, безжирной вовсе, – над овсом и водой» (I, 59). И хоть кажется ему *чудно*, но совсем не удивляет, что «... человек, кому без золотых погон и жизни было не знато, с адмиралом английским якшался, а теперь с Фетюковым носилки таскает», потому что человека «можно и так повернуть, и так...» (I, 83).

Сознает Шухов и то, каким уязвимым делает человека подверженность искушениям и соблазнам, особенно в лагере, где платить придется своей душой; поведение разного рода *придурков* и *шестёрков* у него перед глазами. За собой Шухов знает, что, в отличие от Фетюкова, превратившегося в *шакала*, «он бы себя не уронил» (I, 30). Потому что и в лагере не утратил чувство собственного достоинства: «Но он не был шакал даже после восьми лет общих работ – и чем дальше, тем крепче утверждался» (I, 102). А Фетюкова, всеми презираемого, Шухову по-человечески «жаль», так как «ему не дожить» срока: «Не умеет он себя поставить» (I, 103). Не умеет, так как не может справиться с внутренним злом, с тем злом, которое не вне человека, а в *сердце* человека. Шухов же помнит, в чем убедил его опыт лагерной жизни и в чем не раз убеждались дру-



гие арестанты, «...что пока душа не потеряна – главное еще не потеряно...»²¹.

Сопrotивление злу

В столовой, во время ужина, Шухов заметил высокого старика, о котором слышал, что «по лагерям да по тюрьмам сидит несчётно, сколько советская власть стоит...»; не похож был Ю-81 на советского человека, чувствовалось в нем по манере держаться иное происхождение: «Изо всех пригорбленных лагерных спин его спина отменна была прямизною, и за столом казалось, будто он ещё сверх скамейки под себя что подложил» (I, 98). И не только воспитан он, видно, был по-другому, но и силой духа обладал, почему и не сделал до сих пор никакой уступки лагерным правилам и привычкам: «А засело-таки в нём, не примирится: трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в росплесках, а – на тряпочку стираную» (I, 99). Шухов же отличил его от остальных и выделил взглядом, так как признал в нем человека, «в ком сохранилось достоинство человеческого»²².

То, что и в лагере возможно сопротивление злу, говорит и поведение баптиста Алёши, со смирением принимающего посланные ему испытания; вера служит ему внутренней опорой, помогающей переносить тяготы лагерной жизни. Шухова, который «не против Бога» и в Бога «охотно» верит, но считает, что «сколько ни молись, а сроку не скинут», он убеждает: «Что тебе воля? На воле твоя последняя вера терниями заглохнет! Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать!» (I, 111–112). Шухову не нравится, что баптисты любят «агитировать, вроде политруков» (I, 28), но за твердость, с которой переносят религиозные гонения, уважает: «По двадцать пять лет вкатили им за баптистскую веру – неуж думают тем от веры отвадить?» (I, 38).

Сам Шухов, разделяющий мифические представления об устройстве мира, «...не похож на убеждённо верующего человека»²³. Кавторангу, смеющемуся над его рассуждениями, будто «старый месяц Бог на звёзды крошит», и удивляющемуся, что он еще и в Бога верит, Шухов отвечает: «Как громыхнёт – пойдешь не поверь!» (I, 77). Его вера похожа на веру бригадира, тоже крестьянина, рассказывающего, что комполка и комиссар, выгнавшие его из армии как сына кулака, были «растреляны в тридцать седьмом»; узнав об этом, Тюрин перекрестился и сказал: «Всё ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпешь, да больно бьёшь» (I, 62–63). Религиозное чувство, мифологически окрашенное, не делает Шухова фаталистом и не превращает в праведника, но дает силы выживать, не поддаваясь лагерному растлению: «Переживём всё, даст Бог кончиться!» (I, 98).

Между тем собственный срок его подходит к концу, почему и стал беспокоиться, чем занять-

ся бы ему на воле. Написала жена о новом промысле – по трафареткам «ковры красить», но не привлекает его увлекший «своих деревенских» легкий заработок *красилёй*: «Но, по душе, не хотел бы Иван Денисович за те ковры браться. Для них развязность нужна, нахальство, милиции на лапу совать. Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого, и в лагере не научился» (I, 36–37). А потом «проясниться стало, что домой таких не пускают, гонят в ссылку», а ему только б и хотелось «у Бога попросить, чтобы – домой» (I, 112). Но сомневаться теперь начал, что просьба его выполнима, так как домой все равно не пустят. Только и радоваться, что вот сегодня «хороший день» выпал, и благодарить: «Слава тебе, Господи, ещё один день прошёл!» (I, 110). Особенно если день этот оказался «ничем не омрачённый, почти счастливый» (I, 114).

День, вместивший в себя столько событий и переживаний, сюжетно завершен, но не завершена история героя, поведавшего, как сложился *один* из дней «в его сроке» (I, 114); то, как устроилась его жизнь после лагеря, за пределами авторского замысла. Между тем всем ходом повествования автор убеждает, что герой его наверняка остался таким же стойким перед лицом испытаний и совестливым, сохранившим душу и не готовым примириться со злом, каким предстал в рассказе о лагерной жизни.

Примечания

- ¹ Новак М. О Боге и человеке // Солженицын в Гарварде / пер. с англ. Л. Ворониной. N. Y., 1981. С. 201.
- ² См.: Шмеман А., *прот.* О Солженицыне // Шмеман А., *прот.* Собрание статей, 1947–1983 / сост. Е. Ю. Дорман. 2-е изд. М., 2011. С. 769.
- ³ В ситуациях испытания проходят проверку социум и герой (См.: Тмарченко Н. Русская повесть Серебряного века: Проблемы поэтики сюжета и жанра. М., 2007. С. 12–13).
- ⁴ Солженицын А. Собр. соч.: в 30 т. Т. 5. М., 2010. С. 505. Далее цитаты приводятся по данному изданию с указанием в скобках тома римскими и страниц арабскими цифрами.
- ⁵ Новак М. Указ. соч. С. 201.
- ⁶ См.: Гура А. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997. С. 123–130.
- ⁷ См.: Виноградова Н. Почему антихрист и его лжепророк называются зверями? // Апокалипсис в истолковательном и назидательном чтении: сб. ст. / сост. М. Барсов. М., 1993. С. 205.
- ⁸ См.: Геллер М. Концентрационный мир и советская литература. Л., 1974. С. 260–261.
- ⁹ Шмеман А., *прот.* О Солженицыне. С. 769–770.
- ¹⁰ Темпест Р. Геометрия ада: поэтика пространства и времени в повести «Один день Ивана Денисовича»: пер. с англ. // «Ивану Денисовичу» полвека: Юбилейный сборник (1962–2012) / сост. П. Е. Спиваковский,



- Т. В. Есина ; вступ. ст. П. Е. Спиваковского. М., 2012. С. 551.
- ¹¹ Ковтун Н. Русская традиционалистская проза XX–XXI веков. Генезис, мифопоэтика, контексты. М., 2017. С. 129.
- ¹² См.: Шмеман А., прот. О Солженицыне. С. 769.
- ¹³ См.: Спиваковский П. Через полвека // «Ивану Денисовичу» полвека... С. 7.
- ¹⁴ Лейбович О. Лагерный социум как объект исследования : источники и методологические подходы // История сталинизма : Принудительный труд в СССР. Экономика, политика, память : материалы междунар. науч. конф. (Москва, 28–20 октября 2011 г.) / отв. ред. Л. И. Бородин, С. А. Красильников, О. В. Хлевнюк. М., 2013. С. 345.
- ¹⁵ См.: Гудков Л. Идеологема «врага» // Гудков Л. Негативная идентичность : Статьи 1997–2002 годов. М., 2004. С. 600–601.
- ¹⁶ Михайлик Е. Один? День? Ивана Денисовича? или Реформа языка // НЛО. 2014. № 126. С. 298.
- ¹⁷ Там же. С. 300.
- ¹⁸ Токер Л. Некоторые особенности повествовательного метода в «Одном дне Ивана Денисовича» : пер. с англ. // Солженицын : Мыслитель, историк, художник. Западная критика, 1974–2008 : сб. ст. / сост. и автор вступ. ст. Э. Э. Эрикссон, мл. ; коммент. О. Б. Василевской ; пер. с англ. и фр. М., 2010. С. 540.
- ¹⁹ Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная русская литература : 1950-е – 1990-е годы : в 2 т. Т. 1. М., 2003. С. 264.
- ²⁰ Панченко А. Топика и культурная дистанция // Историческая поэтика : Итоги и перспективы изучения : сб. ст. / АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького ; редкол. : М. Б. Храпченко [и др.]. М., 1986. С. 241.
- ²¹ Михайлов М. Мистический опыт неволи // Михайлов М. Планетарное сознание. Michigan, 1982. С. 194.
- ²² Павлов О. Русский человек в XX веке. Александр Солженицын в зазеркалье каратаевщины // «Ивану Денисовичу» полвека... С. 597.
- ²³ Темпест Р. Геометрия ада : поэтика пространства и времени в повести «Один день Ивана Денисовича». С. 561.

Образец для цитирования:

Кривонос В. Ш. Реальность зла в «Одном дне Ивана Денисовича» А. И. Солженицына // Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. 2020. Т. 20, вып. 1. С. 75–80. DOI: <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2020-20-1-75-80>

Cite this article as:

Krivosnos V. Sh. The Reality of Evil in *One Day in the Life of Ivan Denisovich* by A. I. Solzhenitsyn. *Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Philology. Journalism*, 2020, vol. 20, iss. 1, pp. 75–80 (in Russian). DOI: <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2020-20-1-75-80>